

© 2003 г. О. Н. ТРУБАЧЕВ

КНИГА В МОЕЙ ЖИЗНИ*

Пришло время, и эти вопросы задали также мне. Какой-то свой ответ на них в той или иной форме готов, наверное, у каждого из нас, коль скоро все мы учились по книгам, да и сейчас большую часть новой информации черпаем из книг, хотя иные горячие головы уже толкуют о новых формах и источниках информации в будущем.

"Книга в моей жизни?" – это, конечно, вопрос, обращенный к нашему детству, отрочеству и юности, а не только к зрелому возрасту, и я рад отметить, что мое детство в этом смысле (да и в других отношениях) сложилось счастливо. Я вырос в семье, где любили книгу. Это было в 30-е годы, в довоенном Сталинграде. Отец, молодой тогда врач, собирал библиотеку из русской и мировой художественной классики. Возможности для этого были небольшие, условия жизни – скромные, ничего похожего на нынешний "взрыв" библиофилии и библиомании, разумеется, не было, любители и ценители книг знали друг друга подчас наперечет, также как и букинистов и переплетчиков. Отец, например, сам мог переплести книгу. Он ездил в магазины, брал иногда с собой и меня, и книги постепенно занимали свои места в большом стеклянном шкафу. Их, я думаю, никогда не было очень много, возможно, не больше тысячи, но они систематически и умело подбирались.

Та довоенная наша библиотека погибла в Сталинграде осенью 1942 года, поэтому не все, находившееся в ней, успело найти путь к мальчишескому сердцу. И все-таки я сумел много взять от этой библиотеки. В ней были русские и советские издания – их выпускали ЗИФ ("Земля и фабрика"), КОГИЗ и, конечно, "Academia", – а также многотомные собрания сочинений авторов, которые никогда и нигде потом мне в таком количестве не встречались, например, английского автора приключенческой литературы капитана Мариетта.

Надо ли говорить, с каким увлечением я поглощал тогда эти "морские приключения", к тому же хорошо иллюстрированные. Именно благодаря его роману "Корабль-призрак" я еще тогда приобщился к распространенному сюжету мировой литературы и культуры – легенде о Летучем голландце. И сейчас еще, когда, бывает, машинально прочтешь и расшифруешь литеры FD (Flying Dutch – Летучий голландец) на парусах яхт соответствующего класса, где-то краем сознания проплывет это леденящее, мрачноватое повествование капитана Мариетта.

Вообще приключенческой классики было у нас много: в том числе, разумеется, Ф. Купер, Жюль Верн, тоже ЗИФовский, очень комплектный (так его потом у нас никогда не переиздавали) и сопровождаемый большим количеством отличных иллюстраций французских художников. Смешно сказать, но когда мне – уже для каких-то нынешних научных изысканий – понадобился малоизвестный роман Жюль

* Предлагаемая статья О. Н. Трубачева печатается по машинописному тексту, хранящемуся в семейном архиве. Впервые была опубликована в "Альманахе библиофила" 1984 г., вып. 16 (издавался с 1973 по 1993 г. М., "Книга"). Надеемся, что и нашим читателям будет интересно узнать более подробно о той роли, которую играли книги в жизни Олега Николаевича, в становлении его как ученого.

Верна "Упрямец Керабан", то его нашли в Москве только по межбиблиотечному абонементу, в Библиотеке им. В.И. Ленина, и только... в издании ЗИФ. Так что мне передали как бы привет из детства.

Начал я свои книжные воспоминания с "приключений" и "путешествий", потому что ничего так не любил, как их. В моем детском сознании эти два дорогих для меня слова даже слились и как бы синонимизировались. В жизни это получило свое преломление. Путешественником и моряком я не стал (хотя о последнем определенно мечтал), но манящая экзотика закладывала основу будущих интересов, питала фантазию и через нее – интуицию. С детства полюбил географию, а, по словам моего старого близкого коллеги, которого теперь уже нет в живых, если ребенок проявил интерес к географии, значит, полюбил филологию. Так я, видимо, пришел в филологию, а в этимологию, в которой профессионально работаю, без фантазии и интуиции нечего делать (впрочем, это, кажется, можно сказать и о многих других науках).

До серьезной русской классики в те далекие годы я еще не дорос, но, конечно, успел полюбить сказки – и "Сказки" Пушкина, и трехтомник Афанасьева, и многие другие. Надо сказать, что в 30-е годы у нас умели изумительно издавать книги, в том числе и этого рода. Как прекрасны, например, были "Сказки" Перро с дивными иллюстрациями (до сих пор помню обложку и гравюры).

В то время очень активно издавались наши национальные эпосы, и я читал с интересом и армянского "Давида Сасунского", и калмыцкого "Джангара". А тогдашний юбилей Руставели! Он породил чудесное иллюстрированное издание поэмы "Витязь в тигровой шкуре". Но фантастика, так называемая научная, меня трогала мало, с недоверием читал имевшегося у нас Уэллса и "Гиперболоид инженера Гарина" А. Толстого.

С признательностью храню память о милой дешевенькой серии "Книга за книгой". Именно благодаря ей запали в душу и "Роланд-оруженосец" Жуковского, и "Тёма и Жучка" Гарина-Михайловского, и "Стойкий оловянный солдатик" Андерсена, и множество другого хорошего. "Книга за книгой" имела, судя по всему, широкую издательскую программу. Она предоставила возможность прикоснуться к творчеству нидерландского писателя Мультипути – прочитать книжечку "Саиджи и Адинда".

Вспоминаю, как ввиду моего неестественно тихого поведения меня находили обычно склонившимся над книгой, особенно если это была "книжка с картинками". Незаметно для себя я учился быть усидчивым, а усидчивость – добродетель не последняя для того, кто создает словари, что я и делаю сейчас, работая над многотомным "Этимологическим словарем славянских языков", первым в нашей стране (ранее мною подготовлен – переведен и дополнен – четырехтомный "Этимологический словарь русского языка" М. Фасмера). Тогда же я на практике, не сознавая этого, постигал великую истину, что книга – *vehiculum informationis*, что можно посетить Африку и побывать в Древнем Риме (помню, меня потряс "Спартак" Джованьоли), не покидая комнаты. Это тоже воспитывало навыки будущего кабинетного ученого. Хорошее изучение литературы – верный и наиболее экономный способ изучения предмета.

Я забыл сказать, что в доме у нас царила аккуратность, отчего у меня выработалась стойкая неприязнь ко всякому "живописному беспорядку", "рабочему беспорядку" на письменном столе; я не верю, что за этим всегда стоит творчество и богатство мыслей. К книгам это имело самое прямое отношение: они не пачкались, не мялись, не загибались, не клались куда попало. Это был культ книги (причем необязательно старой и редкой, об этом – далее). Поэтому книгу и не давали кому угодно. Это была семейная библиотека (сейчас охотно популяризуют опыт семейных библиотек, превращаемых в районные, поселковые, словом – публичные, тут, конечно, возможны разные мнения). На меня, на отца производили тягостное впечатление случаи потребительского, небрежного отношения к книгам.

Воспоминания уходят в то прошлое, когда притягательный стеклянный шкаф был аккуратно закрыт, из-за стекла манили толстые корешки книг. Какие же это были книги? Среди них – "Гаргантюа и Пантагрюэль" Рабле, как известно, виртуозно переведенный на русский язык и хорошо изданный, с иллюстрациями непревзойденного Гюстава Доре. Я себе просто не представляю этого писателя иллюстрированным кем-нибудь другим.

Так и запомнились автор и художник в своей неразрывной конгениальности. Возрожденческая жизнь бьет ключом на этих картинках.

За стеклянной дверцей шкафа стояли книги, знакомство с которыми тогда было и останется навсегда для меня прекраснейшим переживанием моей жизни: "Жизнь Робинзона Крузо" Дефо и "Путешествия Гулливера" Свифта. Это замечательные издания "Academia" с иллюстрациями Гранвиля. Прекрасный художник-иллюстратор объединил обоих писателей, не питавших при жизни друг к другу добрых чувств (особенно Свифт), как мне стало известно много позже. Не все иллюстрации Гранвиля, как и Доре, подходили для детских глаз, особенно в книге язвительного Свифта, но мастерство художников покоряло детскую душу, и я полюбил эту жизнь и эту природу, принялся рисовать пальмы, корабли, оружие, предметы и – как мог – людей.

До сих пор мне зрительно памятен тщательный гравюрный штрих Гранвиля, кафтаны с обшлагами, башмаки с пряжками. С натуры я никогда рисовать не учился, но гранвилевские рисунки срисовывал с таким тщанием и упорством, что взрослые обратили на это внимание, хвалили, показывали друг другу. Я считаю невозможным издавать "Робинзона Крузо" и "Гулливера" с какими-то иными иллюстрациями, это только погубит достигнутое единство образов. Если добавить, что я тогда подолгу играл в Робинзона Крузо, лежа с ружьем в засаде среди нарисованных и вырезанных из бумаги пальм, то станет понятным, что содержание книг стало содержанием и моей жизни. Величие трудов и терзаний Робинзона Крузо детская душа почувствовала раньше, чем ум научился понимать.

Ученый Свифт был интересен мне и позже, как этимологу, своим остроумным выдумыванием для великанов имен на кельтской (ирландской) основе, а также пародийными рассуждениями насчет споров об этимологии названия летающего острова Лапута (позже я прочел это и по-английски).

Из этого же стеклянного шкафа извлекался, к моей радости, двухтомный "Дон Кихот" Сервантеса издания "Academia", иллюстрированный уже упоминавшимся Доре. Был в хорошем довоенном издании и Шекспир, если говорить о современных Сервантеса. К слову сказать, Сервантес и Доре тоже образовывали неповторимое классическое единство. Так получилось, что я, не прочитав еще "Дон Кихота" по-испански, читал его, кроме русского, еще и (частями) в польском и литовском переводах, и всякий раз это были книги, иллюстрированные Доре. Мне непонятны поэтому попытки иных художников заменить Доре в новых изданиях "Дон Кихота". Это невозможно.

Прекрасное сопереживание возникает у нас, когда мы знакомим с этими сокровищами своих детей. Так было, например, при чтении сыну детского издания "Робинзона Крузо". Тогда вновь я почувствовал эту подлинную поэму труда и добрых помыслов (когда сам маленький, то многого не видишь за пальмами и дикарями). В одну из прогулок с сыном мы купили в магазине "Букинист" на Ленинском проспекте "Робинзона Крузо" издания "Academia" 1932 года, несколько потрепанного, помню, за 3 рубля. Лет 20 назад это еще было возможно. А сейчас, говорят, тех изданий "Academia" не найти, а полная коллекция книг "Academia" – это редчайшая вещь!

До сих пор речь шла в основном о семейной библиотеке, о книгах в стеклянном шкафу. Но я читал тогда, разумеется, не только свои, но и книги городской библиотеки. Одной из них, если не ошибаюсь, была крупноформатная книга "Черногорские сказки и легенды". Они затронули меня тоже очень глубоко. Новые сюжеты, имена, новые слова (из этой книги мне, видимо, впервые врезалось в память слово *пучина* – о

море). До войны были прочитаны и близкие мне по духу и содержанию "Песни западных славян" Пушкина. Пушкинские строчки сами укладывались в детской памяти, эпический их тон очаровывал, а незнакомые прежде слова и имена только разжигали интерес: два могучих *беля* побрались; *Стамати* был стар и бессилен, а Елена молода и прекрасна... Разумеется, на всю жизнь и наверняка еще с тех лет запомнился страшный пушкинский *вурдалак* – слово и образ. Я много думал, уже став филологом, о слове *вурдалак*, даже пытался его (ошибочно) этимологизировать в начале своей ученой карьеры. Конечный, отстоявшийся итог этих размышлений о вурдалаке нашел отражение в подготовленном мною словаре Фасмера. Но сейчас речь о другом – пожалуй, о зачатках интереса к славянству, которые заронили эти хорошие книги. Дело в том, что перед самой войной мне встретились в детском журнале и запомнились эпические стихи черногорского поэта Радуге Стиенского. Я хранил о них теплое воспоминание долго и бережно.

На этом впору и кончить воспоминания о книгах моего детства и перейти к книгам отрочества и юности.

С годами число книг в поле моего зрения, естественно, росло, хотя события жизни не благоприятствовали спокойному чтению. Шла Отечественная война, и семья переезжала на новые места жительства. Чтение в то время не могло не быть случайным. В доме приютившего нас дяди, врача-хирурга, в Горьком, были прочитаны в 1942–1943 годах и запомнились "Илиада" Гомера в переводе Гнедича (очень хорошее дореволюционное иллюстрированное издание). В одном толстом журнале тех военных лет попало описание Грюнвальдской битвы в отрывке из "Крестоносцев" Г. Сенкевича, и это чтение стало событием для меня, предварившим позднейшее прочтение в оригинале практически всех крупных романов этого необыкновенного польского писателя.

Тяжелая война воспитывала и славянское чувство, отнюдь не в ущерб библиофильскому интернационализму. Замечу, что моим первым иностранным языком был немецкий. А мое серьезное изучение языков началось на Украине, куда мы переехали после ее освобождения нашими войсками. Тогда мне было 14 лет. До этого – в 12 лет – прочел "Войну и мир" Толстого, так сказать, в первом приближении, чтобы вернуться к нему потом, когда мог читать там на французском письма и длинные пассажи.

Украинский город Днепропетровск поразил обилием осевшей в букинистических магазинах трофейной литературы на иностранных языках. Занималась новая мирная жизнь, а с ней крепли и ширились новые интересы. Меня и раньше влекло ко всему написанному не по-русски. Латинские буквы я пытался употреблять сам, для передачи русских слов, это была моя детская игра. Написанное на иностранных языках диковинными сочетаниями букв слово привлекало и было непонятным, вызывая стремление его "узнать". Так обретало форму мое путешествие в незнаемое. Узнавать в новом обличье уже знакомое – увлекательное занятие. Так были прочитаны вновь, но уже на немецком, с удивлением и захватывающим интересом, помогавшим одолевать трудности, знакомые немецкие сказки. Тот монументальный немецкий "Märchenbuch", преодоленный в 15-летнем возрасте, запомнился на всю жизнь.

Чудесное узнавание старых знакомых – сказок и сказочников – одухотворяло тонким романтизмом все это сугубо самостоятельное занятие, включая заучивание слов, и требовало большой усидчивости, буквально "прикипания к стулу". Немецким словарным составом я овладел действительно основательно, и это пригодилось позже.

В 1945–1946 годах мне приходилось читать, порой без системы, весьма трудные, даже труднейшие книги. Всякий хороший педагог пришел бы от этого в ужас, но я после "Книги сказок" (неадаптированной, правда) начал "Фауста" Гете... Конечно, прочитать к 16 годам в оригинале полного "Фауста" значило понять в нем едва ли одну четверть. Но затем я перечитывал его вновь и вновь; в конце концов прочитал немецкий текст четыре раза.

Возможности перечитывать Гете были – он перебивал у нас в нескольких немецких изданиях. Сначала – 15-томное собрание его художественных сочинений, затем –

роскошное, в нескольких больших томах, абсолютной сохранности, иллюстрированное лучшими немецкими художниками, издание поэта, вышедшее к 50-летию со дня смерти – в 1882 году в Штутгарте.

В 1947–1948 годах удалось приобрести полные собрания сочинений Шиллера и Гейне в превосходных немецких изданиях большого формата. Я прочел их целиком. Особенно (т.е. больше, чем Гете) я любил как поэта прямодушного и романтического Шиллера. В этом издании он открылся мне не только как автор баллад, поэм и драм, но и как историк ("История Тридцатилетней войны", "История отпадения Нидерландов от испанского правительства"). Надо ли говорить, какая это была школа в изучении немецкого языка, в познании Германии, в эстетическом воспитании.

О том, что Шиллер – поэт юности, уже сказано другими. Гейне я любил как-то меньше, чем Гете и Шиллера. Тем не менее пища для ума и сердца имелась первоклассная. Посещая букинистические магазины и приобретая редкие книги по очень недорогой тогда цене, мы с отцом вскоре собрали неплохую библиотеку европейских классиков – в оригинале.

Больше всего было немецкой литературы – несколько сот томов Гете, Гейне, Шиллера, Виланда, Лессинга, Клейста, Кернера, Шамиссо и ряд других; собрания сочинений философов – Гегеля и Шопенгауэра; книги по всемирной истории, искусству; был даже четырехтомник Фрица Ройтера. Большую часть собранной немецкой классики я прочел тогда же – на свежую, молодую голову. Был еще на немецком языке, т.е. в переводе, образцово изданный Генрик Ибсен в 20-ти томах. Я много читал Ибсена именно в этом издании. Мы собрали оригинальные издания французской литературы (Расин, Мольер, Лафонтен; "Жиль Блаз" Лесажа, "История крестовых походов", "История французской литературы" Г. Лансона), и я, надо сказать, успел тогда же, в студенческие годы, много одолеть из этого; было немало английской (хотелось бы особенно отметить оксфордский 12-томник Шекспира).

Как видно из рассказанного, мое вхождение в филологию продолжало осуществляться с помощью книг, особенно благодаря проявившейся склонности к языкам. Кончая среднюю школу, я уже свободно читал по-немецки, по-польски и регулярно занимался чтением на французском и английском языках. Приобретенный тогда скромный чешско-русский словарь под редакцией П.Г. Богатырева 1947 года – "памятник" начавшемуся интересу к чешскому языку; приобрел я и учебник болгарского языка С.Б. Бернштейна 1948 года. Старый польско-русский словарь издания 1931 года, купленный году в 1946-м, служил мне очень исправно, но рано перестал удовлетворять, а потому поля его страниц были покрыты моими тогдашними "дополнениями". Это по большей части толкования редких слов и географических названий, встреченных в прочитанных студентом романах Сенкевича на польском языке.

Охотно приобретались тогда отдельные книги на итальянском языке. В связи с этим приходилось обращаться к учебникам итальянского и испанского языков (правда, серьезно углубиться в них я не успел). Даже был приобретен учебник японского языка в двух частях Холодовича, но тоже без особого результата: Восток меня мало привлекал.

Пережив потерю первой нашей библиотеки в Сталинграде, отец с новым жаром, поддерживаемым уже моими интересами, принялся собирать вторую семейную библиотеку. Она и на этот раз количественно не была большой, но подобрана была неплохо и имела ряд ценных изданий. В те годы необычайно широко развернулась издательская деятельность. По подписке можно было приобрести за короткое время несколько десятков собраний сочинений лучших русских и зарубежных писателей.

Хочется добрым словом упомянуть деятельность нашего Издательства иностранной литературы в те годы, выпустившего в оригиналах много классики. Купер, Байрон, Диккенс, Золя и другие в советских изданиях тоже активно покупались и читались мной тогда. Книгу "Жерминаль" Золя по-французски, помню, я прихватил с собой даже в летнюю уборочную пору в колхоз, будучи студентом. И как символ книжных интересов тех лет вспоминается диковинная книжка, изданная в дореволю-

ционной России и выуженная нами из букинистических развалов (почему-то она была в обложке тома свода законов Российской империи), – сказка "Мать" Андерсена на 26 языках. Эта печальная мудрая сказка, которую прочел в некоторых переводах, послужила воспитательным средством против юношеской гордыни.

Ни одна библиотека, как бы велика она ни была, не может удовлетворить вполне своего читателя или собирателя. Я имею в виду и тех своих знакомых московских ученых, которые ухитряются в двухкомнатной квартире держать библиотеку в 5 тысяч томов, а в трехкомнатной – даже 30 тысяч томов! Не может удовлетворить одна библиотека, даже государственная, научного работника, исследователя, как не удовлетворяют, я уверен, своих владельцев названные мной для примера две частные библиотеки, но задавить и выжить человека из собственного жилья они могут вполне. О себе скажу, что я слишком хорошо понимаю, как много нужно книг на самом деле, а потому давно приучил себя обходиться библиотечным и межбиблиотечным абонементом. Словом, "почитание книжное" (по Ярославу Мудрому) и книжное собирательство – вещи все-таки разные, хотя я не хотел бы обязательно бросить тень на последнее. Создание хороших библиотек – по-своему прекрасное дело, но в нем есть риск, даже если это не снобизм. Если разобраться, создание библиотеки – это большое самостоятельное дело, оно поглощает и сковывает силы, требует времени, места. Как это ни парадоксально, создание даже целенаправленных научных библиотек отвлекает от занятий наукой, такие примеры тоже известны. Так что приходится выбирать.

Последние 10 лет я совсем не приобретаю художественную литературу, а научную приобретаю с большим выбором, единицами, а библиотека растет, полки не хватает! Дело в том, что я состою в научном обмене с немалым кругом лиц и получаю от них, а также от тех, с кем даже и не состою в таком обмене, еженедельно, если не ежедневно, довольно много новинок. Дарственные экземпляры составляют к настоящему моменту уже значительную часть моей библиотеки. Этот научный книжный обмен с коллегами очень ценен и оперативен, книги, которые я получаю таким путем, не сразу появляются в московских библиотеках.

Так я незаметно перешел на разговор о научной библиотеке. Я выбрал (не вчера) свой путь, а с ним и свой тип личной библиотеки. Но главное, что при этом надо иметь в виду, – это то, что, помимо личных словарей, справочников и прочей подобной научной литературы, у меня, у каждого из нас, работников науки, есть в обороте то, что можно назвать *библиотекой читаемой литературы*, или точнее, литературы абонируемой, которая лишь временно занимает мой стол и книжные полки, хотя в моей жизни, в моих исканиях играет важную роль.

Библиотечные книги дарили мне радость и в раннем детстве, я уже говорил об этом. В студенческие годы я, конечно, более систематично обращался в библиотеку (главным образом, университета, факультета). Замечу только, что это не было преобладающим источником моего чтения и учения. Основная масса русской классики, необходимой для студента-филолога, у меня имелась дома. Помню, что я стремился прочесть как можно больше произведений западноевропейской литературы в оригинале и прибегал при этом нередко к помощи университетской библиотеки, читая Мопассана, Барбюса, Роллана, Гауптмана и других, если их не было дома. Стремление студента-руссиста читать изучаемую литературу по возможности в оригинале, может быть, и отдавало, как сейчас сказали бы, "пижонством", но в нем присутствовали и интерес к книге, и требовательность к себе.

Москва, годы аспирантуры, дальнейший научный путь вдали от родительского дома многое переменяли в привычном образе жизни. Публичная библиотека, библиотека института стали надолго основными поставщиками книжных знаний, даже впоследствии, когда я предпочитал работу над книгами в своем кабинете. Конечно, радужные представления молодого человека о богатстве столичных библиотек сменились зрелыми суждениями научного работника, познавшего и разочарования. Главный источник огорчения – некомплектность периодических или многотомных изданий. Именно

нужного тебе тома нет – им кто-то раз и навсегда "поинтересовался". Это всегда очень досадно.

Бывают, наверное, в нашей жизни какие-то "заколдованные" по своей недоступности нужные книги. Так у меня было с Плинием. Я никакими судьбами не мог получить через московские библиотеки книги IV–VI его "Естественной истории". Для курьеза отмечу, что и в ряде европейских университетов, когда я отыскивал Плиния на полках филологических и исторических семинаров, книги IV–VI всякий раз отсутствовали. Что же, я понимаю тех, кто меня опередил: эти книги, наверное, самые интересные во всей плиниевской энциклопедии древних знаний. Я рад, что мне, наконец, удалось прочесть в них то, мимо чего многие проходили. Но, чтобы сделать это как следует, пришлось добыть своего Плиния, специально списавшись с зарубежными коллегами (по счастью, "Естественная история" как раз вновь переиздавалась). "Свой" латинский Плиний и "свой" греческий Геродот в лучших изданиях смотрят на меня с полком (к прочтению и пониманию последнего я тоже приложил свою исследовательскую руку). Они – мои спутники и добрые помощники в путешествии в неизвестное, когда я ищу следы древнего неопisanного языка и этноса в античном Северном Причерноморье.

Я лексикограф, составляю и издаю, как уже было сказано, особые книги – словари. Предрасположение к этому обозначилось, думаю, рано, еще в школе. Под влиянием своих упорных занятий немецким языком я вознамерился делать свой немецко-русский словарь, который, как мне казалось, должен был отличаться от существующих, даже составил (в тетрадке) большой начальный кусок этого словаря. Разумеется, это была компиляция из других знакомых словарей, но с посильными моими дополнениями из прочитанного.

У человека, который не только читает книги, написанные другими, но и сам их пишет, отношение к книгам особое. Книга, с одной стороны, для меня – лелеемый, оберегаемый предмет (усвоенное с детства "не загибать углов, не пачкать..."), с другой стороны – это орудие моего повседневного труда. Натренированный глаз, читая, выхватывает ошибки автора или издателей, рука привычно держит карандаш, делая на полях легкие пометы, необходимые для заострения внимания, особенно при повторном чтении и использовании книги для работы. Пометы различные – от лаконичных птичек-галочек и нотабене до порой довольно подробных примечаний, которые потом входят частями текста в мои работы. Такие дополнения-приписки есть и на полях книг, вышедших из-под моего пера. Иногда это реакция досады в свой адрес – своевременно не сообразил описать, объяснить так, как сейчас представляется совершенно очевидным. Простейший пример. В моем русском переводном издании "Этимологического словаря русского языка" Фасмера оставлено необъясненным слово в следующей словарной статье: "*Катетка* – небольшой головной платок, астрах. Темное слово". Абсолютно ясно (теперь), что это не что иное, как диалектный вариант слова *кокетка* (как это раньше не догадался? Случай смещения мягких *к* и *т* обычны в русских народных говорах. Еще с детства и тоже с Нижней Волги мне знакомо слово *пашкет*, местное видоизменение литературного *паштет*). Так и останется эта карандашная приписка в моем личном Фасмере, а это, если хотите, маленькая, но этимология, истолкование ранее не объясненного слова. Одно дело – бесспорная заповедь не портить книг, а другое дело – грамотные карандашные пометы на полях автора, исследователя, владельца книги.

О моей работе над переводом словаря Фасмера хочется рассказать особо.

Как известно, "Этимологический словарь русского языка" Макса Фасмера был выпущен издательством "Карл Винтер" в Гейдельберге в 1950–1958 годах, т.е. четверть века тому назад. Этимологические словари имеют свою судьбу, они стареют, как люди, которые их пишут, они тоже не бессмертны. Их благополучие и продолжительность жизни зависят от того, как с ними обращаются и хорошо ли их "питают", – я имею в виду издания и дополнения. При этом, естественно, ни одно новое издание, ни одно дополнение не вправе считаться совершенным и полным, наиболее

естественный ход вещей – это когда за хорошим следует лучшее (не будем сейчас говорить о возможности обратного). Прежде чем рассказать о своем опыте, я хотел бы отметить, касаясь собственного перевода и дополнений к словарю Фасмера, что полностью отдаю себе отчет в тех или иных недостатках или неровностях этой работы. Сейчас, наверное, я сделал бы кое-что иначе, объяснил бы еще некоторые случаи, оставшиеся тогда неясными, но многое я и сегодня оставил бы как есть, и это, конечно, приносит удовлетворение от сознания правильности выбора или решения.

Инициатива издания русского Фасмера в стране русского языка находит свое начало если не в предложениях московского съезда славистов (IV Международный съезд славистов 1958 года), то, во всяком случае, в том прекрасном духе этого съезда и последующего за ним времени. 72-летний профессор западноберлинского университета Макс Фасмер прибыл в Москву (уже во второй раз после войны, первый раз был в 1956 году в связи с Международным комитетом славистов), принял участие в конгрессе, был глубоко потрясен теплым приемом. У нас все еще помнят его трогательную речь в актовом зале Московского университета.

Короче говоря, вскоре возникла идея русского перевода его словаря. Издательство иностранной литературы предложило мне заняться переводом, в январе 1959 года был заключен договор, и я принялся с воодушевлением за дело. В апреле 1961 года работа была окончена, и рукопись в 3200 машинописных страниц, примерно 160 авторских листов (оригинальный текст плюс этимологические и литературные поправки и дополнения переводчика), была передана редакции языкознания издательства. Те два года были для меня, молодого кандидата филологических наук, отличной школой.

Определенная подготовка для такой работы у меня была. Несколько лет уже были посвящены этимологическим исследованиям; близкое знакомство с только что опубликованным этимологическим словарем Фасмера позволило мне выступить с докладом об этом словаре на специальном заседании в Академии наук СССР в 1959 году (см.: Вопросы языкознания, 1960, № 3). Своевременность выхода словаря Фасмера в свет, высокий научный уровень труда, богатый словник (диалектная лексика, включившие украинский и белорусских слов, серия статей по ономастике, особенно украсившие этот словарь, богатая библиография, трезвый этимологический анализ, непредвзятость) – таков был тогдашний вывод.

С окончанием перевода словаря Фасмера трудности не кончились. Скорее, наоборот. Перевод мог бы выйти из печати значительно раньше, на самом же деле публикация длилась 9 лет (1964–1973). Дело оказалось новым и не совсем обычным, издательские планы, как всегда, были перегружены, русский Фасмер нуждался в специальной печати, требовалась академическая типография.

От издательства "Карл Винтер" пришел запрос (переданный мне устно профессором Гертой Хютль-Ворт), действительно ли мы планируем у себя русское издание словаря Фасмера – в Федеративной Республике Германии намеревались предпринять второе издание. Первое немецкое издание Фасмера насчитывало 2 тысячи экземпляров, если не ошибаюсь. Наше русское было в десять раз больше. К сожалению, сам Фасмер не дождал до его выхода. Но еще перед смертью, в 1962 году, он узнал о намерении издать его словарь на русском языке. Несколько озабоченный этим, он написал академику В.В. Виноградову, тогдашнему академику-секретарю Отделения литературы и языка АН СССР. Как только я узнал о его опасениях, послал ему образец своего перевода с примерными дополнениями в квадратных скобках.

Но вернусь к своей домашней библиотеке. В моем обиходе нет и никогда не было книг рукописных, старопечатных, редчайших. Согласен с тем, что их поиски – это тоже род путешествия в неизвестное, со своими колумбами и со своими прекрасными открытиями. Я работаю и ишу в другом измерении – во времени, когда еще не было книг, не было письма – даже у греков или у еще более древних цивилизаций. Может быть, поэтому у меня спокойное отношение к старым книгам: в сравнении с праславянскими и праиндоевропейскими древностями все это – новая литература. Углубле-

ние в реконструируемые тысячелетия наделяет иным видением кардинальных проблем. Взять хотя бы проблему литературного языка: в представлении специалистов по письменной истории литературный язык – это обязательно язык *письменной* литературы. При этом недооценивают тот факт, что литература – это прежде всего не письменность, "буквенность" (таково в самом деле начальное значение латинского *litteratura*), а *словесность*, которая всякий раз начинается как *устная* словесность, что главнейшая особенность ее возникновения и употребления – наддиалектность. Гомеровские поэмы – это уже литература, литературный язык, только со временем обретшие письменную форму. Такое понимание исторического места книг и книжности приходит не сразу, и к нему более восприимчивы исследователи дописьменных эпох. Русисты и специалисты близкого профиля, как я заметил, не расположены к такому пониманию, оно их шокирует...

Таким образом, редкие книги я созерцал только в музеях и в чужих собраниях. Впрочем, не только в музеях. Помню, увидел *прижизненное* издание "Путешествия из Петербурга в Москву" Радищева, причем увидел при потрясающих, можно сказать, обстоятельствах – в руках одной студентки, моей сокурсницы, известной среди нас своим отставанием и неуспеваемостью. Студентка глядела в небрежно раскрытую книгу, сидя в университетском клубе, и ответила на мой изумленный вопрос (я понял, что передо мной – запрещенный уникум конца XVIII века), что книга из университетской библиотеки. Жалею, что не поинтересовался последующей судьбой этой книги...

На этом месте я хотел бы и расстаться с внимательным читателем, выразив убеждение, что книголюбие, как и все на свете, кроме общих представлений и стандартных правил, облекается у каждого из нас в индивидуальную форму, обретает своеобразие и отличия, и эти последние, думается, представляют наиболее живой интерес.